

Dix!

О СТОЛКНОВЕНИИ МОРАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО НАЧАЛ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

О.В. Гаман-Голутвина

ПО СПРАВЕДЛИВОМУ замечанию Б.Капустина, тема соотношения политики и морали представляет интерес для политолога главным образом в контексте влияния последней на функционирование политических институтов. “Анализ работы морали в политике... несовместим с умозрительным подходом к ней как к источнику всего лишь оценок политики... Если мораль работает, то она по определению принадлежит тому же миру, в котором находится политика, и ‘системы координат’ совмещает не логика, а практика” [Капустин 2004: 59].

Для выявления содержательного сопряжения политических и этических начал прежде всего требуется разграничить понятия “мораль” и “нравственность”, которые часто употребляются как синонимы. В принципе, разнообразие точек зрения по этому вопросу можно свести к двум ключевым трактовкам. Первая из них восходит к философии И.Канта, вторая — к исторической теодицеи Г.В.Ф.Гегеля. Согласно Канту, мораль определяет внутренние убеждения человека, тогда как нравственность есть практическая реализация этих принципов, их актуализация в деятельности субъекта. В рамках гегелевской теодицеи мораль составляет основу собственных представлений человека о добре и зле, в то время как нравственные нормы имеют надындивидуальный характер и выступают преимущественно в качестве внешнего регламентирующего фактора. Иными словами, и в одном, и в другом случае моральность соотносится с внутренними принципами человека, а нравственность — с внешней регламентацией, какую бы форму та ни принимала [Сорвин 2005: 385].

163

Принципиальным основанием гегелевской философии истории, как известно, является радикальное разведение не только морали и нравственности как таковых, но и их *субъектов*. Нравственность есть атрибут единственного подлинного субъекта мировой истории — мирового духа, мораль же остается достоянием частных лиц. При этом сфера, в которой совершается всемирная история, считается более высокой, “чем та, к которой приурочена моральность, чем та сфера, которую составляют образ мыслей частных лиц, совесть индивидуумов, их собственная воля и образ действий... То, что творит прорицание, стоит выше обязанностей, вменяемости и требований, которые выпадают на долю индивидуальности по отношению к ее нравственности... Таким образом, дела великих людей, которые являются всемирно-историческими индивидуумами, оправдываются не только в их внутреннем бессознательном значении, но и с мирской точки зрения. Но нельзя с этой точки зрения предъявлять к всемирно-историческим действиям и к совершающим их лицам требования, которые совершенно неуместны по отношению к ним” [Гегель 1993: 114-115]. То есть, нравственность — или право — мирового духа не просто не тождественна морали индивидов, но “выше всех частных прав” [Гегель 1993: 88].

Однако история разворачивается *не помимо* людей, а через их деятельность с присущим ей глубинным противоречием целей и средств. На это противоречие обращали внимание и Кант, и Гегель. В одной из версий кантовского

ГАМАН-ГОЛУТВИНА Оксана Викторовна, доктор политических наук, профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ.

Dixi!

категорического императива специально указывалось на недопустимость отношения к другому человеку и в его лице — к человечеству как к средству. И хотя Кант признавал, что в истории не только отдельные люди, но целые поколения оказываются средствами для достижения определенных целей, в его философии это противоречие разрешалось довольно просто: человек как цель и человек как средство объявлялись принадлежащими разным мирам — ноумenalному и феноменальному.

Иное воплощение и иное разрешение данное противоречие нашло в философии Гегеля. С одной стороны, Гегель видел в человеке средство мирового духа, что автоматически снимало проблему индивидуальной моральной ответственности*. С другой — учитывая наличие таких факторов, как *моральность* и *религиозность*, даже он не решился низвести индивида до положения *исключительно* средства. В результате человек представлял как фокус пересечения двух моральных модусов — нравственности мирового духа, использующего индивида для достижения исторических целей, и собственной внутренней морали.

ДЕИДЕАЛИЗАЦИЯ гегелевской философско-исторической конструкции позволяет рассматривать в качестве надындивидуального начала государство, обретшее в рамках Вестфальской системы статус доминирующего субъекта политики**. В подобной ситуации именно политика государства становится объектом регулирования через нормы “высшей” морали, оставляя морали “частной” пространство самоопределения индивидов. Это дает основания для постановки вопроса о разведении двух типов этических регуляторов — *политической* и *приватной* морали.

В данном контексте уместно заметить, что в качестве самостоятельных сфер социальной жизни феномены политики и морали резко различаются с точки зрения своих содержательных и функциональных особенностей. Как подчеркивал когда-то М.Вебер, “кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно иные задачи — такие, которые можно разрешить только при помощи насилия... Все... достигнутое политическим действием... угрожает ‘спасению души’” [Вебер 1990: 703]. Если суть морали в незыблемости раз и навсегда установленных норм и ценностей, нацеленных на укрощении эгоистической природы человека, то в политике константой является не идеал, а интерес. Смысл морали передают максимы “Возлюби ближнего, как самого себя”, “Сам погибай, а товарища выручай” и т.п., тогда как сущность политики — формула “В политике нет вечных друзей — есть вечные интересы”.

Это не значит, что политика по определению безнравственна: здесь просто иной базовый критерий нравственности. Мерилом нравственности в политике выступает соответствие национально-государственным интересам: курс, отвечающий интересам данной страны, квалифицируется как нравственная политика, а противоречащий — как аморальная. При этом личная нравственная состоятельность конкретного политика — вопрос второстепенный. Прекрасной иллюстрацией позиции политически “взрослого” общества по этому вопросу может служить тот факт, что даже в разгар скандала, связанного с М.Левицки, рейтинг Б.Клинтона не опускался ниже 60%: оценивая Клинтона,

* “Частное в большинстве случаев слишком мелко по сравнению со всеобщим... индивидуумы вообще подводятся под категорию средств” [Гегель 1993:84].

** Кстати, доминирование государства как политического актора органично гегелевской апологии государства: “Ведь истинное есть единство всеобщей и субъективной воли, а всеобщее существует в государстве... Государство есть божественная идея как она существует на земле” [Гегель 1993: 90].

граждане США исходили не из “морального” облика президента, а из результатов его деятельности в качестве главы государства.

Разведение политической и приватной морали в духе гегелевского дуализма может показаться эготистским преувеличением. Но эта крайность есть реакция на другую. Слишком часто на протяжении последних лет предметом осуждения становились не только действительно избыточные государственные полномочия, но и атрибутивно присущие государству характеристики, включая регулирующие государственную политику специфические моральные нормы. Иначе говоря, подлежащими устраниению представляли не просто репрессивные функции государства и его авторитарные интенции, а *сама идея* государства как института, призванного воплощать общее благо. Сверхидеей деэтатизации провозглашались интересы индивида. Однако парадоксальным образом оказалось, что в ситуации крушения государства может потерпеть крушение и индивид. Трагическая гибель Г.Старовойтовой, посвятившей немало сил борьбе с государством и погибшей фактически под его обломками (тотальная криминализация может рассматриваться как один из наиболее наглядных признаков эрозии государства), — тому подтверждение.

Разумеется, я отнюдь не хочу сказать, что в политике цель (национальный интерес) полностью оправдывает средства. Но при определении степени нравственности средств тоже нужны адекватные процедуры, ибо рассуждения о “слезе ребенка” нередко используются для прикрытия изощренно антигуманной политики. При механическом приложении к политике норм и оценок “частной” морали можно прийти к абсурдному выводу, что государство есть глубоко безнравственный институт — ведь реализация его функций неизбежно предполагает насилие, причем в “особо крупных размерах”. Поэтому, на мой взгляд, следует ставить вопрос не о несовместимости политики и морали, а о *специфичности политической морали*, отличной от *морали приватной*.

С точки зрения “приватной” морали пакт Молотова-Риббентропа, безусловно, выглядит аморальным, но с позиций политического реализма он может рассматриваться как оправданный и даже необходимый шаг. Не случайно денонсация этого соглашения в 1989 г. знаменовала собой геополитическое поражение нашей страны, ставшее прологом распада Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

165

Смешение политической и “приватной” морали чревато тяжелыми последствиями. Наглядной иллюстрацией того, к чему ведет перенесение норм политической морали на частную жизнь, служит судьба знаменитого героя Ф.М.Достоевского Р.Раскольникова, решившего доказать, что он “не тварь дрожащая, а право имеет”. Вердикт Достоевского определен: подобные попытки влекут за собой крушение личности того, кто пошел на такую подмену, и страдания невинных людей. Еще большей трагедией может обернуться экстраполяция “приватной” морали на сферу политики.

Однако — и эта оговорка принципиальна — *правда политической морали есть только часть правды*. Даже тоталитарное государство не способно поглотить весь спектр социальных отношений — рядом с политической моралью всегда существует мораль “приватная”, и человек выступает точкой их пересечения. Объективной основой данного положения вещей является имманентное общественному устройству противоречие государственного и частного начал. Очевидно, что характер пересечения “двух моралей” зависит от взаимоотношений государства и общества. В случае мирного сосуществования последних политическое и приватное измерения морали легко уживаются между собой; конфликт между обществом и государством неизбежно чреват их конфликтом.

Отсюда следует, что феномен морали в политике имманентно противоречив, причем противоречия политической морали “не формально-логического

Dixi!

свойства. В них столь много плоти и крови, что их нельзя даже понять, мысля ‘априорно’ и отвлекаясь от ситуаций и контекстов, в которых они возникли, не говоря уже о нахождении способов их преодоления. Более того, многие из них такого рода, что у них совсем нет ‘окончательных и единственно правильных решений’” [Капустин 2004: 71]. Другими словами, политическая мораль, в отличие от морали “приватной”, ситуативна и не допускает априорных решений. *Что есть насилие, какова его допустимая мера, как возможно его искупление — ответы на эти вопросы возможны лишь в конкретном контексте. “Политическая мораль покидает сферу трансцендентного и входит в историю”* [Капустин 2004: 78].

ВЫСКАЗАННЫЕ выше соображения, как мне кажется, во многом проясняют истоки драматических коллизий в российской политике. Исследования показывают, что особенностью политического развития нашей страны является перманентный конфликт между государством и обществом. Было бы глубоким заблуждением искать корни этого конфликта в психологических особенностях лиц, в разное время стоявших во главе российского государства. Глубинная его основа заключается в том, что выдвигаемые государством задачи, как правило, опережают возможности общества. В свою очередь, постановка таких задач диктуется не произволом властей, а необходимостью обеспечить выживание социума [Гаман-Голутвина 1998: гл. I].

Важнейшим фактором, определяющим специфику взаимодействия политики и морали (и, соответственно, морали политической и “приватной”) в любом обществе, являются исторически сложившиеся особенности политической организации социума. В свою очередь, политическая организация и — шире — политическая традиция суть не что иное, как концентрированное выражение многократно повторенного исторического опыта. Адекватная содержательная интерпретация политической традиции предполагает “дешифровку” исторического опыта, а та, со своей стороны, — анализ условий формирования и эволюции политического социума.

К числу ключевых параметров российского политического развития следует отнести дефицит значимых ресурсов (финансовых, образовательных, квалификационных, психологических и иных). Этот дефицит, обусловленный неблагоприятной природно-климатической средой, сложными внешнеполитическими обстоятельствами (частые внешние агрессии) и разновозрастностью российского и западноевропейского суперэтносов [подробнее см. Гаман-Голутвина 1998: гл. I], во многом и предопределил масштабное использование принуждения как в отношении массовых групп населения, так и в рамках самого политического класса. Смысл применения политического насилия в России заключался в ускорении политического развития и предельной мобилизации политического класса в качестве субъекта модернизации. По существу, принуждение выступало в качестве компенсаторного механизма, призванного восполнить недостаток других ресурсов. Именно здесь, как мне кажется, и кроются истоки длительного сохранения в стране крепостного права. По справедливому замечанию С.М.Соловьева, “прикрепление крестьян — это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении” [Соловьев 1989: 432]. Не будет значительным преувеличением утверждать, что формирование российской государственности происходило в *чрезвычайных* условиях, что определяло универсальность модуса чрезвычайности и в сфере морали*.

* Чрезвычайность трактуется здесь как освобождение от всякой нормативности [см. Шмитт 2000].

Объектом применения насилия являлись не только массовые группы населения, но и сегменты правящего класса. Главным внутренним противоречием российского политического класса было противостояние первого лица государства (князя, царя, императора, генсека) и высшего эшелона административно-политической бюрократии, а основной закономерностью отечественной истории — “борьба правительства, точнее государства, насколько оно понималось известным правительством, со своими собственными органами” [Ключевский 1993: 7]*.

Потребность в перманентном обращении к насилию получила свое институциональное выражение в доминировании в России политических систем и режимов жесткого — преимущественно авторитарного — типа. Подобную политическую организацию некоторые исследователи называют “служилым государством” (Б.Н.Чичерин), другие — “народной монархией” (И.Л.Солоневич), третьи — “Русской Системой” (Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов). Но как бы то ни было, ее фундаментальной характеристикой является моноцентризм власти, по сути означающий поглощение политических отношений административными и растворение политики в административном управлении**. Датой рождения собственно российской политики следует считать 17 октября 1905 г., когда был обнародован знаменитый Манифест Николая II, объявлявший о создании Государственной Думы (представительного органа, где могли артикулироваться интересы альтернативных государству центров власти), провозглашивший свободу слова (что позволяло артикулировать такие интересы) и открывавший возможности для формирования политических партий и движений (как отличных от государства субъектов властных отношений).

Однако в качестве самостоятельного феномена, не тождественного административному управлению, политика просуществовала в России недолго. В 1920-е годы были распущены все политические партии за исключением правящей ВКП(б). Учитывая характер этой партии (фактически сросшейся с государством), можно констатировать, что в стране была восстановлена система административного управления со свойственным ей моноцентризмом власти. Начало новому, современному, этапу политического (в истинном значении этого понятия) развития России было положено в 1990 г. в связи с отменой 6-й статьи Конституции СССР. Государство в лице бюрократии перестало быть монопольным субъектом управления, и политика действительно представляла сферой конкуренции различных политических сил по поводу распределения властных полномочий.

167

В РАМКАХ господствовавшей в стране на протяжении нескольких столетий модели управления население выступало в качестве объекта не политического, а административного управления, что предопределило вытеснение его из сферы политических (властных) отношений. В условиях России административное управление являло собой разновидность политического насилия, порой обретавшего форму насилия физического. Это нашло отражение в преобладании “лобового”, директивного стиля политического руководства и утверждении представлений об эффективности и безальтеративности политического принуждения как универсальной технологии лидерства.

* Среди наиболее ярких проявлений такой борьбы можно упомянуть опричнину Ивана Грозного, давление Петра I на старомосковское дворянство и политические чистки Сталина.

** Поскольку политика есть взаимодействие субъектов по поводу распределения власти, систему управления, при которой отсутствуют отличные от государства центры власти и государство обладает монополией на осуществление таковой, неправомерно квалифицировать как политическую.

Dixi!

Традиционный авторитарный формат лидерства сохранился и в современной России, несмотря на радикализм произошедшей в ней политико-экономической и социальной трансформации. Об этом свидетельствуют не только случаи применения насилия в качестве аргумента в спорах с политической оппозицией (наиболее яркий пример — расстрел Белого дома в октябре 1993 г.), но и особенности восприятия населением политических лидеров. Весьма показательно в этом плане, что после трагических событий 3-4 октября рейтинг Ельцина хотя и снизился, но незначительно. Подобная устойчивость рейтинга президента, приказавшего расстрелять собственный парламент, по-видимому, объясняется тем, что для российского массового сознания настоящий лидер — это тот, кто в критической ситуации не побоится “употребить силу”*.

Более чем пятилетняя ориентация на принуждение в отношениях политического класса с массовыми слоями населения и внутри самого политического класса способствовала превращению насилия в универсальный модус политической культуры как властных групп, так и общества. В результате в России, в отличие от стран с дисперсно организованной системой власти, сложилась политическая культура не консенсусно-технологического, а конфронтационного типа.

Перманентная практика использования насилия в общественной жизни неизбежно порождала стремление к либерализации политической системы. Подобные попытки предпринимались и представителями правящего класса (“кающиеся дворяне” стали устойчивой традицией российской политики), и политической элитой. Однако в описанных условиях они, как и следовало ожидать, осуществлялись преимущественно насильственными методами. На насилие делали ставку и декабристы, и “Народная воля”, и социалистические движения конца XIX — начала XX в.**

168

В основе радикально-авторитарного типа политического сознания, видящего в насилии универсальную технологию политики, по сути, лежит описанный С.Франком принцип “любви к дальнему”, во имя которой жертвуют интересами “ближних”. “Из великой любви к грядущему рождается великая ненависть к людям”, — отмечал Франк, подчеркивая, что “страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению” [Франк 1990: 95]. Нигилистический морализм русской революционной интеллигенции был классическим проявлением данного модуса политического сознания.

Целью попыток насилиственной либерализации было ускорение политического развития. Но, поскольку по своей сути они мало чем отличались от описанной в восточной притче попытки ускорить созревание пшеницы посредством “поддергивания” ее вверх за колосья, их эффект обычно оказывался прямо противоположным желаемому. Ответом на насилие со стороны приверженцев политической либерализации, как правило, становилась политическая реакция, сопровождавшаяся не смягчением, а ужесточением политического режима. Не случайно за восстанием декабристов последовало консервативное царствование Николая I, а за убийством Александра II — пересмотр многих из инициированных им либеральных реформ.

ПОГЛОЩЕНИЕ политики административным управлением повлекло за собой ряд важных последствий для формирования российской версии соотноше-

* Не вызывает сомнений, что президент США, отдавший подобный приказ, мгновенно бы превратился в политический труп.

** Характерно, что предлагавшиеся в “Русской Правде” П.Пестеля методы перехода к справедливому строю включали в себя установление диктаторского режима и репрессии по отношению к царствующей династии.

ния политической и “приватной” морали. Одним из таких последствий было доминирование политической морали по отношению к “частной”. Парадоксальным образом российская политическая история оказалась практической реализацией гегелевской апологии государства, а российская версия политической морали — воплощением нравственности гегелевского мирового духа.

Другим, и не менее важным, последствием стал резкий разрыв в восприятии политическим классом и внеэлитными группами стандартов морали в политике. Если властные круги, как правило, стояли на позициях политического реализма, то для массового сознания был характерен принципиально иной подход к политике. Будучи исключены из этой сферы деятельности, массовые слои населения не имели возможности выработать адекватное понимание ее специфики, и их представления о должном в политике во многом определялись нормами “частной” морали.

На Западе, в отличие от России, политический реализм укоренен в сознании не только властных, но и массовых групп. Истоки столь солидарного мышления кроются в том, что политика здесь не поглощена административным управлением (власть дисперсно организована) и обе названные категории участвуют в политической жизни (несмотря на разницу в уровне и качестве такого участия). Причастность миру политики дает возможность рядовому гражданину осознать специфичность политической морали. Что же касается властных кругов, то в их сознании политический реализм безраздельно господствует: мировая политика рассматривается ими преимущественно в качестве игры с нулевой суммой.

Рассекреченные и опубликованные в последние годы документы косвенно указывают на то, что президент США Ф.Д.Рузельт был заблаговременно информирован о грядущей атаке на Перл-Харбор, но не предпринял никаких попыток предотвратить ее, ибо агрессия японцев могла обеспечить мобилизацию американского общества на борьбу с государствами оси “Берлин — Токио — Рим”. Существуют также данные, свидетельствующие о том, что, благодаря достижениям английских криптографов, расшифровавших донесения немецкого Генштаба, У.Черчилль знал о готовящейся бомбардировке Ковентри. Однако британский премьер не сделал ничего, чтобы предотвратить трагедию: меры по обеспечению безопасности этого города были чреваты рассекречиванием доступа англичан к тайнам немецкого командования и его утратой, результатом чего могла стать национальная катастрофа. Было ли такое бездействие аморальным?

169

ЕСЛИ МЫ ОБРАТИМСЯ к истории, то увидим, что попытки правящих кругов России перейти на позиции идеализма практически всегда оборачивались политическим поражением страны. Вспомним, например, к чему привело романтическое стремление императора Александра I создать после окончания наполеоновских войн Священный союз — систему общеевропейской безопасности, основанную на балансе интересов. Бывшие союзники России по антинаполеоновской коалиции противопоставили ее открыто конференциальной политике политику кулуарногоговора. И в этом не порок, а сила западной дипломатии, всегда исходившей из принципа первенства интересов. Именно этим принципом руководствовались Талейран, Меттерних, Бисмарк...

Не менее показательна в этом смысле русско-турецкая война 1877 — 1878 гг. Известно, сколь упорно противился император Александр II вступлению в эту войну, справедливо полагая, что она не соответствует возможностям страны, но в конце концов уступил давлению “прогрессивного” общественного мнения (славянские комитеты и т.д.). Итог: военные расходы Российской империи вдвое (!) превысили ее годовой бюджет и стали причиной тяжелейшего

Dix!

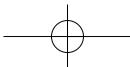
финансового кризиса, а на Берлинском конгрессе 1878 г. Россию лишили плодов одержанных ею военных побед. Более того, Россия не добилась не только благодарности, но и лояльности со стороны освобожденных ею народов, и спустя несколько лет после окончания войны Александру III пришлось констатировать: “В Европе у России друзей нет”.

Крайне плачевными оказались и результаты политического идеализма в период правления М. Горбачева и Б. Ельцина. Политика “нового мышления для нас и всего мира” и “возвращения в семью цивилизованных народов” привела к краху не только советской империи, но и Ялтинско-Потсдамской системы, а с нею — и всей системы глобальной стратегической стабильности. За “дымовой завесой” морализаторского фетишизма времен “перестройки” и “постперестройки” происходило крушение и эффективной политики, и морали. Стенания о засилье государства послужили прологом к его разрушению. Результатом дилетантского морализаторства в политике 1990-х стало геополитическое поражение страны.

Любопытно отметить, что в 1980-е годы была предпринята попытка теоретически обосновать целесообразность и благотворность отказа от насилия в политике. На рубеже 1980 — 1990-х годов ряд авторитетнейших ученых-этиков (среди которых — глубокоуважаемые мною А. Гусейнов, Р. Апресян и др.) инициировал дискуссию о сущности и перспективах ненасилия в политике. Ее смысл заключался в подведении концептуальной базы под отказ от традиционной для мировой политики ставки на силу. Но парадоксальным образом именно в это время политическая жизнь СССР ознаменовалась беспрецедентными в советской истории всплесками насилия. Именно тогда началась череда жесточайших межнациональных конфликтов, проходивших по сходному сценарию и порой приобретавших чудовищные формы: так, в Ошской области Киргизии на рынках открыто торговали человеческим мясом, указывая на ценниках, что это “мясо узбеков”.

НЕРЕДКО можно услышать, что в современном российском обществе политика становится все более безнравственной. Распространенность подобных алармистских оценок не случайна: сегодняшняя реальность дает к ним все больше поводов. Однако разворачивающийся на наших глазах процесс изменения соотношения политической и приватной морали далеко не однозначен: наряду с негативными сторонами, у него имеются и позитивные. Сфера жизнедеятельности общества, подлежащая моральной регуляции, сужается за счет ограничения использования “частной” морали в политических отношениях, а такое сужение, на мой взгляд, целесообразно и благотворно.

Легко предвидеть острую и негативную реакцию на высказанное суждение, ибо принято считать, что привнесение в политику норм нравственности есть условие ее эффективности. Это действительно так. Но проблема гораздо глубже, ведь, как уже говорилось, критерии нравственности в политике весьма отличаются от норм и ценностей “частной” морали. Между тем в России вследствие относительно недавнего появления в ней политики как самостоятельно-го социального феномена характерные для этой сферы нормы и механизмы нередко подменяются теми, что сложились в рамках “частной” морали. Поэтому, несмотря на потенциальные политические и этические издержки, процесс кристаллизации специфически политической нравственности и отказа от неоправданно широкого применения в политике критериев “частной” морали рационален. Массовое политическое сознание постепенно освобождается от излишнего морализаторства, становится более прагматичным и проникается тем разумным эгоизмом, без которого общество легко обыграть под аккомпанемент разговоров о приоритете общечеловеческих ценностей.



Подтверждением тому могут служить недавние события на Украине — не случайно термин “Майдан” сразу же завоевал популярность среди политиков и экспертов. Мнения об этих событиях разноречивы. Одни наблюдатели говорят о пробуждении гражданского общества, другие толкуют об эффективности технологий массовой мобилизации. Очевидно, что в основе всплеска политической активности украинского населения осенью-зимой 2004 г. лежал протест против коррумпированного кланово-олигархического режима Л.Кучмы, приведшего к заметному падению уровня жизни в стране. Однако этот протест был весьма профессионально аккумулирован и использован теми, кто в годы кучмовского правления составлял ядро данного режима (в окружении В.Ющенко порядка 10 бывших вице-премьеров, а сам он занимал при Кучме посты премьер-министра и председателя Национального банка Украины). Одной из базовых технологий мобилизации ими массовой активности выступала моралистская риторика в терминах “нравственной власти”. Между тем анализ показывает, что подобная риторика стала инструментом достижения целей, по сути противоположных политическим и экономическим интересам массовых групп населения.

УКРАИНСКАЯ пословица гласит: “Если политики много говорят о дружбе, становится понятно: сало пора перепрятать. А если много говорят о братстве, нужно проверить, на месте ли кошелек”. Мировая политическая практика подтверждает справедливость этой пословицы.

- Вебер М. 1990. Политика как призвание и профессия. — Вебер М. *Избранные произведения*. М.
- Гаман-Голутвина О.В. 1998. *Политические элиты России: вехи исторической эволюции*. М.
- Гегель Г.В.Ф. 1993. *Философия истории. Введение*. СПб.
- Дай Т., Зиглер Л. 1984. *Демократия для элиты. Введение в американскую политику*. М.
- Капустин Б.Г. 2004. О связи морали и политики. — *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции*. М.
- Ключевский В.О. 1993. *Русская история. Полный курс лекций в трех книгах*. Кн. 2. М.
- Соловьев С.М. 1989. *Чтения и рассказы по истории России*. М.
- Сорвин К.В. 2005. Мораль и нравственность. — *Теоретическая культурология*. М.
- Франк С.Л. 1990. Этика нигилизма. — Франк С.Л. *Сочинения*. М.
- Шмитт К. 2000. *Политическая теология*. М.

